Ежова Елена Юрьевна

243-264-243

Приложение

Все началось преддверьем созиданья.

Разруха, голод, холод, темнота...

Об этом первое воспоминание,

О корке хлеба - первая мечта.

На улице куда теплей, чем дома...

Чадят в буржуйке мокрые дрова,

Разрежут хлеб,

а на ноже - солома,

в пустой похлебке плавает ботва.

Год двадцать первый.

На Поволжье голод.

Тиф. Все вокруг обриты наголо.

Притихший, скудно освещённый город

До самых крыш снегами замело...

КУКЛА

Много нынче в памяти потухло,

а живет безделица, пустяк:

девочкой потерянная кукла

на железных скрещенных путях.

Над платформой пар от паровозов

низко плыл, в равнину уходя...

Теплый дождь шушукался в березах,

но никто не замечал дождя.

Эшелоны шли тогда к востоку,

молча шли, без света и воды,

полные внезапной и жестокой,

горькой человеческой беды.

Девочка кричала и просила

и рвалась из материнских рук,—

показалась ей такой красивой

и желанной эта кукла вдруг.

Но никто не подал ей игрушки,

и толпа, к посадке торопясь,

куклу затоптала у теплушки

в жидкую струящуюся грязь.

Маленькая смерти не поверит,

и разлуки не поймет она...

Так хоть этой крохотной потерей

дотянулась до нее война.

Некуда от странной мысли деться:

это не игрушка, не пустяк,—

это, может быть, обломок детства

на железных скрещенных путях.

МАТЬ

Года прошли,

а помню, как теперь,

фанерой заколоченную дверь,

написанную мелом цифру "шесть",

светильника замасленную жесть,

колышет пламя снежная струя,

солдат в бреду...

И возле койки - я.

И рядом смерть.

Мне трудно вспоминать,

но не могу не вспоминать о нем...

В Москве, на Бронной, у солдата - мать.

Я знаю их шестиэтажный дом,

московский дом...

На кухне примуса,

похожий на ущелье коридор,

горластый репродуктор,

вечный спор

на лестнице... ребячьи голоса...

Вбегал он, раскрасневшийся, в снегу,

пальто расстегивая на бегу,

бросал на стол с размаху связку книг -

вернувшийся из школы ученик.

Вот он лежит: не мальчик, а солдат,

какие тени темные у скул,

как будто умер он, а не уснул,

московский школьник... раненый солдат.

Он жить не будет.

Так сказал хирург.

Но нам нельзя не верить в чудеса,

и я отогреваю пальцы рук...

Минута... десять... двадцать... полчаса...

Снимаю одеяло, - как легка

исколотая шприцами рука.

За эту ночь уже который раз

я жизнь держу на острие иглы.

Колючий иней выбелил углы,

часы внизу отбили пятый час...

О как мне ненавистен с той поры

холодноватый запах камфары!

Со впалых щек сбегает синева,

он говорит невнятные слова,

срывает марлю в спекшейся крови...

Вот так. Еще. Не уступай! Живи!

...Он умер к утру, твой хороший сын,

твоя надежда и твоя любовь...

Зазолотилась под лучом косым

суровая мальчишеская бровь,

и я таким увидела его,

каким он был на Киевском, когда

в последний раз,

печальна и горда,

ты обняла ребенка своего.

. . . . . . . . . . . . . . . .

В осеннем сквере палевый песок

и ржавый лист на тишине воды...

Все те же Патриаршие пруды,

шестиэтажный дом наискосок,

и снова дети роются в песке...

И, может быть, мы рядом на скамью

с тобой садимся.

Я не узнаю

ни добрых глаз, ни жилки на виске.

Да и тебе, конечно, невдомек,

что это я заплакала над ним,

над одиноким мальчиком твоим,

когда он уходил.

Что одинок

тогда он не был...

Что твоя тоска

мне больше,

чем кому-нибудь, близка...

НОЧНАЯ ТРЕВОГА

Знакомый, ненавистный визг...

Как он в ночи тягуч и режущ!

И значит - снова надо вниз,

в неведенье бомбоубежищ.

И снова поиски ключа,

и дверь с задвижкою тугою,

и снова тельце у плеча,

обмякшее и дорогое.

Как назло, лестница крута,-

скользят по сбитым плитам ноги;

и вот навстречу, на пороге -

бормочущая темнота.

Здесь времени потерян счет,

пространство здесь неощутимо,

как будто жизнь, не глядя, мимо

своей дорогою течет.

Горячий мрак, и бормотанье

вполголоса. И только раз

до корня вздрагивает зданье,

и кто-то шепотом: "Не в нас".

И вдруг неясно голубой

квадрат в углу, на месте двери:

"Тревога кончилась. Отбой!"

Мы голосу не сразу верим.

Но лестница выводит в сад,

а сад омыт зеленым светом,

и пахнет резедой и летом,

как до войны, как год назад.

Идут на дно аэростаты,

покачиваясь в синеве.

И шумно ссорятся ребята,

ища осколки по примятой,

белесой утренней траве.

Много счастья и много печалей на свете,

а рассветы прекрасны,

а ночи глухи...

Незаконной любви

незаконные дети,

во грехе родились они —

эти стихи.

Так уж вышло, а я ни о чем не жалею,

трачу, трачу без удержу душу свою...

Мне они всех рожденных когда-то милее,

оттого что я в каждом тебя узнаю.

Я предвижу заране их трудную участь,

дождь и холод у запертых глухо дверей,

я заране их долгой бездомностью мучусь,

я люблю их — кровиночки жизни моей.

Все равно не жалею.

Мне некогда каяться.

Догорай, мое сердце, боли, холодей,—

пусть их больше от нашего счастья останется,

перебьются!

Земля не без добрых людей!

Сколько милых ровесников

в братских могилах лежит.

Узловатая липа

родительский сон сторожит.

Всё беднее теперь я,

бесплотнее день ото дня,

с каждой новой потерей

всё меньше на свете меня.

Черноглазый ребёнок...

Давно его, глупого, нет.

Вместо худенькой девушки –

плоский бумажный портрет.

Вместо женщины юной

осталась усталая мать.

Надлежит ей исчезнуть...

Но я не хочу исчезать!

Льются годы рекою,

сто обличий моих хороня,

только с каждой строкою

всё больше на свете меня.

Оттого всё страшнее мне

браться теперь за перо,

оттого всё нужнее

разобраться, где зло, где добро.

Оттого всё труднее

бросать на бумагу слова:

вот, мол, люди, любуйтесь,

глядите, мол, я какова!

Чем смогу заплатить я

за эту прекрасную власть,

за высокое право

в дома заходить не стучась?

Что могу?

Что должна я?

Сама до конца не пойму...

Только мне не солгать бы

ни в чём,

 никогда,

 никому!

Пусть друзья простят меня за то, что

повидаться с ними не спешу.

Пусть друзья не попрекают почту,—

это я им писем не пишу.

Пусть не сетуют, что рвутся нити,—

я их не по доброй воле рву.

Милые, хорошие, поймите:

я в другой галактике живу!

Людские души – души разные,

не перечислить их, не счесть.

Есть злые, добрые и праздные

и грозовые души есть.

Иная в силе не нуждается,

её дыханием коснись –

и в ней чистейший звук рождается,

распространяясь вдаль и ввысь.

Другая хмуро-неотзывчива,

другая каменно-глуха

для света звёзд,

для пенья птичьего,

для музыки

и для стиха.

Она почти недосягаема,

пока не вторгнутся в неё

любви тревога и отчаянье,

сердечной боли остриё.

Смятенная и беззащитная,

она очнётся,

и тогда

сама по-птичьи закричит она

и засияет как звезда.

Вот говорят: Россия...

Реченьки да березки...

А я твои руки вижу,

узловатые руки,

жесткие.

Руки, от стирки сморщенные,

слезами горькими смоченные,

качавшие, пеленавшие,

на победу благословлявшие.

Вижу пальцы твои сведенные,—

все заботы твои счастливые,

все труды твои обыденные,

все потери неисчислимые...

Отдохнуть бы, да нет привычки

на коленях лежать им праздно...

Я куплю тебе рукавички,

хочешь — синие, хочешь — красные?

Не говори «не надо»,—

мол, на что красота старухе?

Я на сердце согреть бы рада

натруженные твои руки.

Как спасенье свое держу их,

волнения не осиля.

Добрые твои руки,

прекрасные твои руки,

матерь моя, Россия!

Открываю томик одинокий -

томик в переплёте полинялом.

Человек писал вот эти строки.

Я не знаю, для кого писал он.

Пусть он думал и любил иначе

и в столетьях мы не повстречались...

Если я от этих строчек плачу,

значит, мне они предназначались.

Человек живет совсем немного -

несколько десятков лет и зим,

каждый шаг отмеривая строго

сердцем человеческим своим.

Льются реки, плещут волны света,

облака похожи на ягнят...

Травы, шелестящие от ветра,

полчищами поймы полонят.

Выбегает из побегов хилых

сильная блестящая листва,

плачут и смеются на могилах

новые живые существа.

Вспыхивают и сгорают маки.

Истлевает дочерна трава...

В мертвых книгах

крохотные знаки

собраны в бессмертные слова.

Я ЖЕЛАЮ ТЕБЕ ДОБРА!

Улыбаюсь, а сердце плачет

в одинокие вечера.

Я люблю тебя.

Это значит -

я желаю тебе добра.

Это значит, моя отрада,

слов не надо и встреч не надо,

и не надо моей печали,

и не надо моей тревоги,

и не надо, чтобы в дороге

мы рассветы с тобой встречали.

Вот и старость вдали маячит,

и о многом забыть пора...

Я люблю тебя.

Это значит -

я желаю тебе добра.

Значит, как мне тебя покинуть,

как мне память из сердца вынуть,

как не греть твоих рук озябших,

непосильную ношу взявших?

Кто же скажет, моя отрада,

что нам надо,

а что не надо,

посоветует, как же быть?

Нам никто об этом не скажет,

и никто пути не укажет,

и никто узла не развяжет...

Кто сказал, что легко любить?

Одна сижу на пригорке

посреди весенних трясин.

...Я люблю глаза твои горькие,

как кора молодых осин,

улыбку твою родную,

губы, высохшие на ветру...

Потому,— куда ни иду я,

и тебя с собою беру.

Все я тебе рассказываю,

обо всем с тобой говорю,

первый ландыш тебе показываю,

шишку розовую дарю.

Для тебя на болотной ржави

ловлю отраженья звезд...

Ты все думаешь — я чужая,

от тебя за десятки верст?

Ты все думаешь — нет мне дела

до озябшей твоей души?

Потемнело, похолодело,

зашуршали в траве ежи...

Вот уже и тропы заросшей

не увидеть в ночи слепой...

Обними меня, мой хороший,

бесприютные мы с тобой.

У ИСТОЧНИКА

Тягучий жар на землю льётся,

томят извилины пути...

К артезианскому колодцу

бежит ребёнок лет шести.

На цыпочки на камне белом

приподымаясь на краю,

губами ловит неумело

тугую, круглую струю.

Она дугой взлетает звонко,

спеша в орешник молодой,

и пересохший рот ребёнка

едва целуется с водой.

И у меня судьба такая,

и я к источнику бегу.

Мне счастье бьёт в лицо, сверкая,

а я напиться не могу!

Биенье сердца моего,

тепло доверчивого тела...

Как мало взял ты из того,

что я отдать тебе хотела.

А есть тоска, как мёд сладка,

и вянущих черёмух горечь,

и ликованье птичьих сборищ,

и тающие облака...

Есть шорох трав неутомимый,

и говор гальки у реки,

картавый, не переводимый

ни на какие языки.

Есть медный медленный закат

и светлый ливень листопада...

Как ты, наверное, богат,

что ничего тебе не надо!

ЧЕРЕМУХА

Дурманящей, росистой чащею

черёмуха –

дыши, гляди,

ласкай, ломай...

И боль щемящая,–

как мало весён впереди!

А стоит ли уж так печалиться,

прощаясь с миром дорогим?

Ничто на свете не кончается,

лишь поручается другим.

Другим любовь моя завещана,

в других печаль моя горька...

Сто тысяч раз

другая женщина

всё пронесёт через века.

Ничто не пропадёт, не минется.

Всё праздничнее, всё милей

цветёт черёмуха –

любимица

покойной матери моей.